

ГЛАВА I

Бабушка Домна

1942–1944

*Поминайте в своих молитвах
Телейно и церковно
Раба божия Валерия...*

Уже в два года Валерчик бойко отвечал соседям, кем станет, когда вырастет:

— Двойником!

— Дворником? А подметалка выросла? — посмеивались они, но Валерчик не обижался.

Горделиво шагал за бабушкой Домной. Та поощряла:

— Мы с тобой — хозяйева двора. Без дворника нету порядка.

И он пристально смотрел по сторонам. Следил. Иногда подбирал крупный мусор: обрывок бумаги или сухой лист — и радостно тащил в деревянный ящик, стоявший у стены дома. Или мел двор наравне с бабушкой, когда та срывала для него с дерева ветку. А больше всего мечтал о свистке: блестящем, бронзовом, громком. Вот вырастет совсем большим, наденет накрахмаленный фартук, кепку, выйдет во двор и важно со всеми поздоровается. Посмотрит по сторонам: кто тут порядок решил нарушить? Да как засвистит в свисток! Нарушители разбегутся в страхе.

Домна забывалась, когда смотрела на внука. Сама она закрылась и от людей, и от чувств. Только так получалось выживать в перевернутом, искаженном мире, который постиг всех, от мала до велика.

Каждое утро вызывали в сигуранцу — румынскую полицию — на инструктаж. Считалось, что дворники все видят, слышат и знают. Там ее с пристрастием выпрашивали: кто, где, с кем. Угрожали, предлагали поощрения, но что с нее, деревенской тетки возьмешь? Молчала, упрямо выдвинув вперед узкий подбородок, кивала, клялась, прикидывалась глупой, напуганной и рассеянной. Хотя Домна помалкивала, соседи стонились. Желаящих выместить мелкие обиды доносительством хватало, но первыми подозревали управдомов и дворников. Разве что Валерчик, который не замечал войны и смотрел на мир улыбочивыми нахальными глазами, заставлял окружающих смягчаться. Таскался за Домной хвостом, веселя соседей. С восторгом глазел, как замечается мусор на совок. Если куча выходила большой подсказывал: «Лопата!» Когда видел

лужу или маслянистое пятно разлитой смазки, на весь двор кричал: «Песок! Песок!», нетерпеливо ожидая, пока бабушка засыпет.

Домна огорчалась, что первыми словами внука стали: беспорядок, лопата, свисток. Эти слова укоряли: растет, не зная отца и матери. Ведь родился Валерчик 24 января 1942 года. В Одессе.

Жизнь Домну и раньше не баловала. Она ушла от мужа с малолетней Женечкой на руках. Не стерпела, что распускал руки. Одной в поселковом Затишье приходилось тяжело, но замуж не спешила, хотя к одному красивому одесситу, который бывал на их железнодорожной станции проездом, присматривалась.

Александр Сучков нравился Домне: скромный, приличный, но после неудачи она медлила. Только когда Женечка подросла и дом стали осаждают первые поклонники дочери, приняла предложение. Быстренько собрала немногочисленное их добро, подхватила ослепленную городскими перспективами дочь и без лишнего сожаления оставила родной поселок. Ей самой, привыкшей полагаться только на себя, многого и не требовалось. Никаких особых запросов или фантазий. Так, буквально через два дня после переезда Домна объявила мужу, что устроилась дворничихой:

— Это прекрасная работа, — сказала она, парируя его сомнения. — Зависишь только от самой себя. Просто берешь и делаешь. Ничего сложного.

Быстро влиться в шумную городскую жизнь, не составило труда, так что уже через пару лет, местные жители могли с уверенностью сказать, что знали дворничиху Домну Сучкову всегда. Жизнь в Одессе казалась счастливой. Домна родила сына — Леонида. А Женечка, которая расцвела мгновенно и восхитительно, вышла замуж за силового акробата Володю Ободзинского. Однако счастье вышло недолгим. В июне сорок первого, когда семья с нетерпением ждала появления на свет внука, началась война. Володя сразу мобилизовался в оборону, за ним ушел и Сучков.

А месяц спустя в небе появились немецкие бомбардировщики. Город охватило огнем: рев, паника, распластанные тела. Кто как мог спасал свое имущество. Десятки домов горели. Один из снарядов упал и на Малой Арнаутской: немцы бомбили здание чаеразвесочной фабрики через дорогу от их трехэтажки. Стало по-настоящему страшно, но Домна не поддавалась панике. Привязав трехлетнего сына к спине, она все так же терпеливо таскала мешки с песком и бревна для баррикад.

К концу августа началась экстренная эвакуация мирных жителей: больных, женщин и детей. Но людей оказалось очень много, а кораблей, приходивших из Севастополя — мало. К тому же вскоре состав эвакуируемых существенно изменился, корабли стали увозить из осаждаемого города солдат и лучших военных специалистов. Дворничихе

с беременной дочерью и трехлетним сыном места не нашлось. Город трясло от массированной бомбежки и непрекращающихся артобстрелов. Советская армия спешно отступала, по ходу избавляясь от всего, чем бы мог воспользоваться враг для преследования: поездов, автобусов, телег и даже лошадей. Тогда были взорваны мосты, дамбы, причалы, электростанция, несколько заводов, Воронцовский маяк. Город оставался без транспорта, воды и света.

Однако далеко не все одесситы опасались прихода немецких войск. Старые немцы, осевшие тут после предыдущей войны, выходили встречать фашистов, будто спасителей, с хлебом и солью. Кто-то из симпатизирующих белогвардейцам уповал на скорейшую смену порядков, все смелее и неожиданней, по мере отступления русских, бравируя принципиальностью, тщательно скрываемых со времен победы Красной армии взглядов. Но вместо так называемых носителей просвещенной европейской цивилизации, к своему ужасу, одесситы дождались лишь фашиствующих варваров-румын.

Их появление Домна запомнила очень хорошо. После оглушающей канонады, душераздирающего воя сирен, непрерывных взрывов, ржания и человеческого суматошного гула внезапно наступила непривычная тишина. Колкий, пронизывающий октябрьский ветер резко стих, и на несколько минут повсеместно воцарился необычайный покой, точно ангелы, пролетая друг за другом, печально покидали Одессу. В этом оглушающем безмолвии вначале едва слышно, а потом с каждым тактом все сильнее, зазвучал гулкий и чудовищный набат кованых солдатских башмаков. Солдаты врываются в квартиры и сразу же спрашивали: «Коммунисты? Жидан?», а затем тащили все подряд: столовые приборы, зеркала, вазы, часы, выносили даже приглянувшиеся ковры и мебель.

Свой штаб оккупанты разместили в бывшем здании НКВД на Маразлиевской. Через несколько дней приехали немецкие и румынские генералы, чтобы присутствовать на каком-то большом совещании. Советские минеры радовались: лучшего момента, чтобы взорвать здание, и не придумать. Однако когда под обломками погибло больше пятидесяти офицеров, в Одессе начался массовый террор.

Сперва за одного убитого офицера расстреливали по сто-двести большевиков. Потом евреев и коммунистов уничтожали без счета. На каждом фонарном столбе чернели приказы: «В интересах обеспечения безопасности и порядка всем мужчинам еврейского происхождения от восемнадцати до пятидесяти явиться в городскую тюрьму в течение сорока восьми часов. Неподчинившиеся и их укрыватели — будут расстреляны на месте».

Людей сгоняли в склады, бараки и, обливая горячей смесью, поджигали. В портовом сквере расстреляли девятнадцать тысяч евреев, пять тысяч погибло в Дальнике. В январе потянулся марш смерти:

закутанных до глаз детишек везли на санках, немощных стариков тащили под руки. На домах и воротах появились белые кресты: так помечали, что дом от жидов очищен. На улицах горели костры, возле которых грелись румынские солдаты, не обращающие внимания на проходящих, — в Одессе свирепствовали морозы.

Жители влачили скудное, голодное существование, постепенно привыкая к грабежу магазинов, голоду, дракам, нередко случавшимся в очередях за картофелем, и мародерству в домах убежавших или убитых соседей.

И в этот самый момент, когда уповать Домне и Женечке казалось уже не на что, когда экономили остатки крупы, не зная, чего ждать завтра, когда на улице, представлялось страшным даже высунуть нос, Женечка родила сына.

Первые два месяца жизни Валерчика прошли для женщин в таком напряжении и страхе, что те, потеряв счет времени, сами не поняли, как пережили эти страшные дни. Однако к марту тучи начали рассеиваться.

Герман Пынтя — бессарабский румын, уроженец Российской империи — стал городским главой Одессы и активно занялся городом. Открыл храмы, школы, университет, вернул улицам дореволюционные названия, а одесситам — отнятую коммунистами собственность. Разрешил предпринимательство.

Сразу открылись буфеты и рестораны, магазины и комиссионки, парикмахерские и музыкальные мастерские, кабинеты стоматологов и дома терпимости. Одесситы занялись торговлей, а румыны ссудами и кредитами.

Рынок расцвел. Появились горы товаров: разложенное ярусами сало, копченая рыба, корзины с виноградом и яблоками. Все дорого, но возможно. Кто не мог купить, выменивал на золото или одежду. Остальные довольствовались карточками.

Домна стала получать деньги. Платили дворникам сносно — примерно с полкило «полтавской» колбасы — четыре марки в день. Пока она наводила чистоту, Женечка отработывала трудовую повинность на фабрике, а вечерами мчалась в театр.

Румыны с поощрения немцев лепили из Одессы столицу Транснистрии и в череде прочих незатейливых развлечений обнаружили поистине нерононовскую тягу к драматическому искусству. Поэтому первое, чем занялись в захваченном городе после открытия всех питейных заведений — это принялись налаживать работу театров и клубов. Ведь горе, смерть и разруха тяготили, а заводателям страстно хотелось шумного беззаботного праздника. Улицы пестрели афишами: «Евгений Онегин», «Кармен», «Фауст», «Лебединое озеро». Артистам платили хорошо, и кто-то из Володиных знакомых пристроил Женечку помощницей по реквизиту в джазовый театр.

По вечерам, когда по улицам цокали расфуфыренные, ярко накрашенные дамы, гуляли офицеры и солдаты, Женечка мчалась в театр. Красота ее на этот раз оказывала недобрую услугу. Заставляла бояться, опускать глаза. И оказалось, что опасалась не зря. Обычно она возвращалась домой до начала комендантского часа. Но как-то не пришла ни в девять, ни в десять, ни к полуночи.

Домна прождала ее всю ночь, штопая в потемках детские рубашки, а как рассвело, заперла детей одних и помчалась в театр, где в ответ на расспросы взволнованной женщины недовольный сторож сонно пробурчал, что не видел Женю с самого вечера. Дескать, ушла как обычно, еще до окончания спектакля.

От постовых и патрульных толку оказалось мало: взяли дорого, но ничего не подсказали. Тогда Домна набралась храбрости и отправилась в сигуранцу. Единственное место, где знали обо всем, что происходило в городе.

Там уговаривать никого не пришлось, ей доходчиво объяснили, что Евгения Ободзинская задержана по подозрению в семитизме и пособничестве партизанам и после проведения дознания будет либо отправлена в гетто на сельскохозяйственные работы, либо выслана в Германию. Домна побежала домой, схватила все отложенные деньги и выкупила дочь. Оказалось, что Женечка приглянулась какому-то офицеру, а тот, не простив ей отказа, арестовал.

Оставаться было опасно. Женечка собрала вещи, прижала к груди восьмимесячного Валерчика, поцеловав будто в последний раз, и ушла в катакомбы. Не она первая. С начала войны туда ушли сотни. Две чудаковатые старушки Кравченко славились не только тем, что подбирали брошенных собак, но и прятали на чердаке сбежавших пленных, потом переправляя в подземный город. Они подсказали Женечке, как добраться к партизанам.

Женечка ушла не зря. Скоро ее стали искать. К Домне заявили полиция из сигуранцы, выспрашивая, куда подевалась Ободзинская.

Та сделала каменное лицо и сквозь зубы процедила, что знать не знает, сама бы с удовольствием нашла нахалку и выпорола. И что, дескать, подрабатывала тут она нянькой у детей, а потом прихватила кое-какое добро и удрала, не сказав ни слова. Полиция удивилась такому ответу, полагая, что Домна приходится девушке родственницей, но на счастье вникать в подробности не стали.

Домна старалась внушить внуку уверенность, создать образ спокойной, мирной жизни. У нее получалось. Валерчик рос, не чувствуя, что идет война. Своенравным, шаловливым. Домна жалела Валерчика и баловала. Сына Леню, который проказил намного меньше, могла и выпороть. А на внука рука не поднималась.

— Сиротой растешь, — приговаривала Домна, уверенными движениями сметая мусор. — Про мамку свою хочешь знать?

Валерчик согласно кивал. Он всегда кивал, когда бабушка смотрела на него с грустью. Кивал, но не слушал. Домне казалось, что она говорит больше с собой, чем с внуком.

— А я тебе расскажу! — упрямо продолжала она. — Расскажу!.. Танцы она любила... песни.

Домна оперлась двумя руками на черенок лопаты и усмехнулась.

— С Володей, папой твоим, вот романсы голосила, — помолчала, вспоминая. — Любили выдуриваться.

Валерчик тянул ее за край фартука, показывая, что надо замести щепку. А Домна нарочно не замечала, продолжала рассказывать:

— Папка твой начнет петь, — и она старательно вывела грудным голосом, копируя Володю, — «Зимний ветер играет терновником, задувает в окне свечу. Ты ушла-а-а...»

Валерчик встрепенулся и, забыв про щепку, вдруг внимательно стал слушать. Воодушевившись, Домна продолжила:

— А потом слова будто бы забудет... посмотрит на Женю жалобно так. А она и рада стараться!.. — И Домна допела, подражая уже Женечке: — На свидание с любовником! Я один. Я прощу. Я смолчу.

Полубавившись воспоминанию, погрозила пальцем.

— Вот не будь, как мать твоя. Слушайся! Она не послушалась, выскочила замуж. Теперь вон что. А достается тебе, — и тут же по-бабски заохала, — время-то... время-то какое...

Уловив в лице Домны скорую слезу, Валерчик нахмурился, и та тут же исправилась:

— А что нам время, да? Время, знаешь, как летит, Валерчик? У-у... Моргнуть не успеешь. Так что не моргай сильно! А то не заметишь, как жизнь проморгаешь!

Валерчик снова разулыбался, и Домна принялась вспоминать дальше: про Женечкиных поклонников, про то, как жалела об отсутствии мужчины в доме, про дедушку Сучкова, который у него, Валерчика, тоже есть. И что война кончится, и все-все вернуться домой, и будут у него и дедушка, и бабушка, и мама, и папа, и Ленья.

Разговоры про маму не помогали Валерчику. Вместо «мама» и «папа» он по-прежнему говорил: лопата, песок, мусор. Зато стал веселить соседей пением. Он уловил лишь, что мама — это та, что ушла куда-то. Пропала. И потому очень точно копируя исполнение Домны, голосил на весь двор:

— Ты ушла!.. На свиданье с любовником!..

Но война настигла и Валерчика. Как-то Домна мыла подъезд, снова разговаривая не то с Валерчиком, не то сама с собою:

— Есть толк от Пынти-то. Сколько шелухи по углам было, да?.. — и она оглянулась на Валерчика, который, подражая бабушке, вазюкал стенку куском тряпки. — Выдумал же... чищеными семками торговать, чтоб не лугали, где зря. А нам подметать теперь не надо, да?

Валерчик привычно кивал.

— Ну пойдем, что ли? Бутерной колбасы купим.

Валерчик колбасу любил и закивал уже осознанно. Однако колбасы он в тот день не получил. У их дома крутились румыны. Они обошли все кругом, дотошно осмотрели, едва ли не обнюхав, а затем один из них, постарше, распорядился на ломаном русском:

— К обеду приедет немецкий офицер, будет жить. У тебя жить. Работать будешь. Обслуживать, кормить.

— А дети? — растерялась Домна.

— Разберешься, — отмахнулся полицай.

Напуганная Домна поспешила вымыть квартиру. Схватила Валерчика за руку и оттащила в самую маленькую комнату. Неожиданно накричала, когда заканючил, напоминая про колбасу:

— Сиди здесь. И ни за что не выходи! Накажу!

Потом прислала Леню, чтобы они играли вместе и не мешали. Домна редко сердилась на внука, и Валерчик в этот раз с непривычки слушался Леню.

Едва успела прибраться, как на машине привезли сорокалетнего плешивого здоровяка с лоснящимся подбородком и тупым армейским взглядом. Это и был важный немец: полковник Юрген Бальк. У ворот тут же выставили патруль.

Домна слышала, что немцы в отличие от румын бывают покладисты и снисходительны, но этот оказался вспыльчивым и грубым. Сперва осмотрел квартиру. К чему придраться не нашел и дал денег. Похвалил:

— Ты красивая баба.

А потом, когда зашел в дальнюю комнату и увидел мальчишек, выказал недовольство. Дети Балька раздражали.

— Завтра чтобы детей не было.

Пришлось умолять.

— Они не помешают, герр полковник, они тихо играют.

Бальк еще раз оглядел «красивую бабу» и, кажется, смягчился:

— Чтoб из комнаты не выходили.

Потянулись мучительные месяцы жизни с Бальком. Домна делала вид, что не замечает интереса к ней. Тогда немец выказывал недовольство: кричал, что Домна не при деле, хотя та делала все — готовила, мыла полы, чистила кастрюли. Однажды даже ударил. Застал за расклейкой листовки на столбе и с размаху всадил кулак в плечо.

— Ты что творишь? Сдурела? — глаза его почернели от гнева.

Домна страха не показала.

— А что я творю? — Она поднялась с земли и прикрыла столб с листовкой спиной. — Это ваши продают. Самолет пролетел, скинул. Каждый может купить на площади за пять марок.

— Наклеила зачем?! — не нашел другого аргумента немец. Кажется, он впервые узнал про торговлю советскими листовками.

— Раз продают, значит разрешено! А дворники клеят, чтоб все читали. Это и не листовка... Это новости с фронта!

Бальк ничего не ответил. Сорвал листок и, скомкав в кулаке, пошел к себе. Страх отпустил Домну, и она села тут же рядом на ступеньки, но все же не удержалась и крикнула вслед:

— А пять марок? Я последние наскребла!

Потом засмеялась:

— И правда, что творю? Совсем дура страх теряю.

В последнее время появилось чувство какой-то защищенности: что пока с ними живет важный немец, никто не ворвется посреди бела дня, не обстреляет, не ограбит. Она стала спокойнее уходить из дому, оставляя детей одних. Это чувство мнимой безопасности и привело к беде.

Мальчишкам невыносимо стало сидеть взаперти. Домна, конечно, выпускала их, когда Бальк уходил. Однако когда шла работать, строго выговаривала шестилетнему Леньке, чтоб занимал Валерчика играми.

Через какое-то время дети осмелели. Немец словно забыл об их существовании, и Ленька, глядя на Валерчика, тоже вошел в комнату Юргена. Они с удовольствием заглядывали в самые интересные места: комоды, шкафы и холодильник, что немец приволок с собой. Валерчика холодильник поразил больше всего. Он никогда не видел подобного железного шкафа с тяжелой дверью на петлях и круглой крутелкой наверху. Агрегат громко стрекотал, и мальчишки легли на животы, чтобы поразглядывать мотор.

— Такой не украдут, — хихикал Ленька, — не поднимут!

Валерчик тоже смеялся. Ему нравилось приключение.

— Аклой! — потребовал он, указывая на дверь, но Ленька все еще смотрел на мотор и отмахнулся. Пришлось открывать самому. Думал, сил не хватит, но оказалось неожиданно легко. Валерчик приподнял черный штырек, и дверь распахнулась.

Вечно голодные мальчишки с каким-то благоговейным страхом смотрели на банки сметаны, сливок и чесночного саламура, на большую миску с биточками из тюльки, на кастрюлю, доверху наполненную голубцами «с мизинчик», на кусок желтого масла, завернутого в бумагу.

— Чей-то он... — ухмыльнулся Ленька, — голубцы саламурить собрался? Вот же фрицы дурные, это ж для ухи!

А Валерчик с восторгом смотрел на то, что любил больше всего: колбасу с хребтовым шпиком. В холодильнике немца лежало шесть

маслянистых перченых палочек, почему не взять одну? Леня инициативу подавил. Он уже что-то соображал и понимал, что за кражу немец не выпорот, как мамка, а сделает что-то страшнее.

Домна отругала, как узнала, что они ходят в комнату Юргена Балька, и стала запирает дверь.

Валерчик злился. Он ощущал, как жизнь изменилась именно с приездом плешивого немца. Во двор спозаранку нельзя, только когда тот уйдет. С бабушкой мести двор тоже нельзя. Даже в собственном доме играть нельзя. Нужно сидеть в тягостном заточении и ждать, пока бабушка выпустит. Чувство протеста понемногу зрело. При малейшей возможности Валерчик бежал к комнате Юргена и упрямо дергал ручку двери, проверяя, открыто ли. Ведь там стоял холодильник, в нем лежала колбаса, а еще... Леня сказал, что немец разозлится, если взять колбасу. Досадить немцу казалось важным. Нужно лишь дождаться, когда бабушка забудет запереть дверь.

Однажды Валерчику повезло. Схватив колбасу, он побежал в самое безопасное место — во двор. Солнечную тишину нарушало лишь курлыканье голубей, но внезапно раздался шум приближающегося мотора, и в калитку вошел плешивый немец!

Юргену оказалось достаточно двух шагов, чтобы поймать улетающего мальчишку за шкирку. Валерчик успел лишь испуганно пискнуть, как повис в воздухе. Немец встряхнул беглеца, отчего нарядный бант мальчишки, повязанный на шее, сбился набок. Натянувшийся ворот пережал горло, и Валерчик сдавленно захрипел, дергая в воздухе ногами. Он выронил уже надкусанный кусок колбасы, отчаянно пытаясь уцепиться за рукав немца.

— Шайзе, — с отвращением сплюнул Бальк. Черное дуло новенького самозарядного вальтера глянуло прямо в лицо двухлетнего малыша. Он увидел пистолет совсем близко, казалось, ощутил его металлический запах и привкус, хотел заглянуть в самое дуло.

Бальк не спешил стрелять, прорычал что-то на своем и безжалостно швырнул мальчишку на камни мощной площадки. Валерчик шлепнулся, выставив вперед согнутые локти и зашелся высоким пронзительным плачем. Юрген пнул его сапогом под зад, желая, чтоб тот замолчал, но мальчишка заверещал еще отчаяннее.

Стая потревоженных голубей взметнулась с крыши в серое весеннее небо, а где-то наверху захлопнулись окна. Двор словно вымер. Лишь бдительный часовой на мгновение выглянул из ворот посмотреть, что случилось. Увидев разъяренного немца, смущенно исчез.

— Сейчас ты запоешь у меня, сейчас я тебе покажу, — злился немец. И Валерчик запел. Он воспринял слова немца, как приказ.

— Ты ушва!.. На свиданье с любовником!..

Юрген опешил и недоуменно уставился на ребенка. Дуло вальтера опустилось в землю. Тело немца запрыгало и задвигалось в судорогах и через секунду ходило ходуном от смеха.

В этот момент подросла бабушка Домна. Сжав руки перед грудью, она бросилась на колени.

— Найн, — взмолилась отчего-то на немецком, — Битте, найн.

Голос ее срывался.

— Я сделаю тебе хорошо, — искренне удивился Юрген. — Красивая баба, но глупая. Живешь, как скотина. Подумай о себе.

— Пожалуйста, не трогай ребенка, — бабушка почему-то сжалась.

В этот мгновение Валера понял, что происходит что-то. Он не мог знать, что одно неверное движение или слово, и Бальк убьет их прямо здесь, во дворе. С той же легкостью, с какой пристрелил глухого почтальона, принесшего дурные вести, как избил до полусмерти молодого румына или выплеснул кружку с кипятком в лицо торговке виноградом, назвавшей слишком высокую цену. Полная вседозволенность и абсолютная безнаказанность на удивление быстро превращают ино-го человека в жесточайшее из всех существ.

— Убей меня! Пожалуйста!.. Убей меня!.. — целовала сапоги немца бабушка. — Не тронь ребенка! Убей меня.

Она стояла на коленях, прижималась лицом к сапогам немца и рыдала. Валерчику впервые стало по-настоящему страшно. Он почувствовал, как беззащитен. Бабушка, казавшаяся самой сильной, самой главной, самой надежной, молила противного немца.

Гладкое, мясистое лицо Балька удивленно вытянулось, он попытался сделать шаг назад, чтобы освободиться, но бабушка вцепилась крепко. Немец покачнулся и чуть было не потерял равновесие.

— Пожалуйста, пожалуйста, — она целовала по очереди каждую ногу немца. — Ребенок больше не потревожит. А я буду работать!.. Еще лучше! Сколько угодно, сколько надо!

Бальк резко наклонился и, ухватив Домну свободной рукой за волосы, поднял с колен. Затем оглядел ее лицо и с каким-то сожалением кивнул:

— Гаденыш обязан тебе жизнью. Пусть помнит.

Валерчик запомнил. Только вовсе не то, что хотел Юрген Бальк.

После того, как ушел немец, бабушка Домна не утешила, не приласкала, а стала ругать. Она кричала, что Валерчик взял чужое. Много раз повторяла слово нельзя. И, возможно, неосознанно... что там можно осознать в два года? Но Валерчик понял для себя, что прав всегда сильный. Он запомнил это чувство беспомощности, запомнил яркое желание не слушаться Домну, а брать... брать это чужое, которое брать нельзя. Чтобы не чувствовать себя слабым, не чувствовать себя беспомощным. Чтобы стать сильным, самым сильным назло всем.

Домна не молилась. Она не умела. Однако даже невысказанное кто-то услышал. В один из дней она с детьми ушла на привоз, а вернувшись домой, ни немца, ни его охраны не обнаружила. 10 апреля 1944 года советские войска нанесли тяжелое поражение немецким и румынским армиям. Одесса была освобождена.

Неожиданно для Домны Валерчик наконец сказал мама. Сказал ей. Домне. Вскрылось последнее, от чего она бежала. Страшный вопрос: добралась ли тогда Женечка до партизан? Смогла ли дочь уйти в катакомбы? Есть ли у Валерчика мать?

А с ребенка какой спрос... Растет с Леней, как с братом, слышит от него это: мама, мама. Разве поймет, что Домна не мать ему... Только что делать ей самой? Пусть зовет? Пусть думает, что есть у него мама?

Сомнения разрешились, когда с фронта пришло письмо. В треугольном конверте фотография Жени. Девушка сидела за столом, одной рукой обнимая Валериного мишку, в другой держала сигарету. Домна перевернула фотографию и увидела знакомый почерк.

«Родителям и дорогому сыночку Валерику. Посылаю вам мою фотографию и прошу ее сохранить и вспоминать свою дочь, а Валерику мать, которая его любит и никогда ни на кого не променяет».

И, как обычно, ее дописка в конце: «Если дорог оригинал, храните копию».

ГЛАВА II

Мария Николаевна

1945–1955

Маму с папой Валера впервые увидел в конце сорок пятого. Мама выглядела веселой, ласковой и невероятно красивой.

— Сыночек мой! Валерик! — кружила она его, покрывая поцелуями.

Папа показался громким и даже немного грубоватым. Резко подбросил Валерика вверх, желая рассмешить. И сильно расцеловал, отчего сын скривился, пытаясь вырваться.

— Ты что, нюня? — щекотал Володя сорванца, опуская его на землю.

Бабушка Домна вступилась. Шепотом, чтобы лишний раз не тревожить внука, рассказала про Балька. И в таких красках, что едва на колени не упала, изображая сцену.

Володя качал головой и с улыбкой глядел на сына, Женечка охнула, а Валерик смекнул: нюней быть нельзя. Папе не нравится.

В оккупированной румынами Одессе Валера рос в основном среди женщин. Редкие мужчины выглядели боязливыми и робкими. Оккупантов же он воспринимал как чужих: врагов. Потому отец одновременно и восхищал, и вызывал настороженность. Папа не походил ни на потакавшую ему бабушку Домну, ни на ласковую, мягкую маму.

Поначалу отец всюду брал Валерика с собой. Гулял и много, озорно шутил. Бывало, Валерик задумается, а Володя подкрадетсЯ сзади, чтоб напугать. Мальчик вздрогнет, но вида не подает, что испугался.

Так как родители вскоре устроились на работу, Валера остался жить у бабушки. И жизнь пошла привычным ходом.

Женечка с Володей, пропустившие первые три года сына, не возражали против чрезмерной самостоятельности Валеры. Они мало успели пожить бок о бок — разлучила война. И теперь словно наверстывали. Пытались проникнуть сердцем и умом друг в друга, увидеть то, что раньше не видели. Война задала некую точку отсчета: жить одним днем, брать от него как можно больше.

Однако на выходные бабушка непременно вела внука к родителям в коммунальную квартиру на улицу Коминтерна.

Там Валерик раззнакомился со всеми соседями. Общительный красивый мальчик нравился. Особенно соседней забавляла его увлеченность песнями. Он быстро схватывал мелодии и слова, а потом удивлял умением мастерски скопировать исполнителя.